

Иван Тургенев

**Речь по поводу открытия
памятника А. С. Пушкину
в Москве**



Иван Тургенев

**Речь по поводу открытия
памятника А. С.
Пушкину в Москве**

«Public Domain»

1880

Тургенев И. С.

Речь по поводу открытия памятника А. С. Пушкину в Москве /
И. С. Тургенев — «Public Domain», 1880

Открытие памятника Пушкину в Москве, работы А. М. Опекушина, состоялось 6/18 июня 1880 г. Связанные с ним торжества носили характер широкой литературно-общественной демонстрации, заранее предусмотренный ее организаторами, почему и речи, произнесенные по поводу этого события, вызвали многочисленные отражения в печати. Тургенев включился в работу образованного Обществом любителей российской словесности комитета по организации Пушкинского празднества и 29 апреля / 11 мая писал М. М. Стасюлевичу: «На меня навалили трудную работу: написать небольшую брошюру о значении Пушкина, которую будут раздавать бесплатно: эту-то брошюру я прочту в виде речи на заседании Общества любителей словесности, которое будет иметь место накануне праздника открытия – т. е. 25-го мая...»

© Тургенев И. С., 1880

© Public Domain, 1880

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.	9
Комментарии	

Иван Сергеевич Тургенев

<Речь по поводу открытия памятника А. С. Пушкину в Москве>

Мм. гг.!

Сооружение памятника Пушкину, в котором участвовала, которому сочувствует вся образованная Россия и на празднование которого собралось так много наших лучших людей, представителей земли, правительства, науки, словесности и искусства, – это сооружение представляется нам данью признательной любви общества к одному из самых достойных его членов. Постараемся в немногих чертах определить смысл и значение этой любви.

Пушкин был первым русским художником-поэтом. Художество, принимая это слово в том обширном смысле, который включает в его область и поэзию, – художество как воспроизведение, воплощение идеалов, лежащих в основах народной жизни и определяющих его духовную и нравственную физиономию, – составляет одно из коренных свойств человека. Уже предчувствуемое и указанное в самой природе, художество – искусство – является, правда, тоже как подражание, но уже одухотворенное в самой ранней поре народного существования, как нечто отличительно-человеческое. Дикарь каменного периода, начертавший концом кремня на приспособленном обломке кости медвежью или лосиную голову, уже перестал быть дикарем, животным. Но только тогда, когда творческой силою избранных народ достигает сознательно-полного, своеобразного выражения своего искусства, своей поэзии – он тем самым заявляет свое окончательное право на собственное место в истории; он получает свой духовный облик и свой голос – он вступает в братство с другими, признавшими его народами. Недаром же Греция называется родиной Гомера, Германия – Гёте, Англия – Шекспира. Мы не думаем отрицать важность других проявлений народной жизни – в сфере религиозной, государственной и др.; но ту особенность, на которую мы сейчас указывали, дает народу его искусство, его поэзия. И этому нечего удивляться! искусство народа – его живая, личная душа, его мысль, его язык в высшем значении слова; достигнув своего полного выражения, оно становится достоянием всего человечества даже больше, чем наука, именно потому, что оно – звучащая, человеческая, мыслящая душа, и душа неумирающая, ибо может пережить физическое существование своего тела, своего народа. Что нам осталось от Греции? Ее душа осталась нам! Религиозные формы, а за ними научные, также переживают народы, в которых они проявились, но в силу того, что в них есть общего, вечного; поэзия, искусство – в силу того, что есть в них личного, живого.

Пушкин, повторяем, был нашим первым поэтом-художником. В поэте, как в полном выразителе народной сути, сливаются два основных ее начала: начало *восприимчивости* и начало *самодетельности*, женское и мужское начало, – осмелились мы бы прибавить. У нас же, русских, позднее других вступивших в круг европейской семьи, оба эти начала получают особую окраску; восприимчивость у нас является двойственной: и на собственную жизнь, и на жизнь других западных народов со всеми ее богатствами – и подчас горькими для нас плодами; а самодетельность наша получает тоже какую-то особенную, неравномерную, порывистую, иногда зато гениальную силу! ей приходится бороться и с чуждым усложнением и с собственными противоречиями. Вспомните, мм. гг., Петра Великого, натура которого как-то родственна натуре самого Пушкина. Недаром же он питал к нему особенное чувство любовного благоговения! Эта двойственная восприимчивость, о которой мы сейчас говорили, знаменательно отразилась в жизни нашего поэта: сперва рождение в стародворянском барском доме, потом иноземческое воспитание в лицее, влияние тогдашнего общества, проникнутого извне занесенными принципами; Вольтер, Байрон и великая народная война 12-го года; а там

удаление в глубь России, погружение в народную жизнь, в народную речь, и знаменитая старушка-няня с ее эпическими рассказами... Что же касается до самодеятельности, то она в Пушкине возбудилась рано и, быстро утратив свой ищущий, неопределенный характер, превратилась в свободное творчество. Ему и восемнадцати лет не было, когда Батюшков, прочитав его элегию «Редает облаков летучая гряда», воскликнул: «Злодей! как он начал писать!»^[1] Батюшков был прав: *так* еще никто не писал на Руси. Быть может, воскликнув: «Злодей!», Батюшков смутно предчувствовал, что иные его стихи и обороты будут называться пушкинскими, хотя и явились раньше пушкинских. «Le genie prend son bien partout ou il le trouve»^{1, [2]} – гласит французская поговорка. Независимый гений Пушкина скоро – если не считать немногих и незначительных уклонений – освободился и от подражания европейским образцам и от соблазна подделки под народный тон. Подделываться под народный тон, вообще под народность – так же неуместно и бесплодно, как и подчиняться чуждым авторитетам; лучшим доказательством тому служат, с одной стороны, сказки Пушкина, с другой – «Руслан и Людмила», самые слабые, как известно, изо всех его произведений. С неуместностью подражания чужим авторитетам согласятся, конечно, все; но, быть может, возразят иные: если поэт в своих трудах не будет постоянно иметь в виду, иметь целью родной народ, он никогда не станет его поэтом: народ, простой народ его читать не будет. Но, мм. г., какой же великий поэт читается теми, кого мы называем простым народом? Немецкий простой народ не читает Гёте, французский – Мольера, даже английский не читает Шекспира. Их читает – их нация. Всякое искусство есть возведение жизни в идеал: стоящие на почве обычной, ежедневной жизни остаются ниже того уровня. Это вершина, к которой надо приблизиться. И все-таки Гёте, Мольер и Шекспир – народные поэты в истинном значении слова, то есть национальные. Позволим себе сравнение: Бетговен, например, или Моцарт, несомненно, национальные немецкие композиторы, и музыка их по преимуществу немецкая музыка; между тем ни в одном из их произведений вы не найдете следа не только заимствований у простонародной музыки, но даже сходства с нею, именно потому, что эта народная, еще стихийная музыка перешла к ним в плоть и кровь, оживотворила их и потонула в них так же, как и самая теория их искусства, – так же, как исчезают, например, правила грамматики в живом творчестве писателя. В иных, еще более отдаленных от той ежедневной почвы, более в себе замкнутых отраслях искусства самое название «народный» – немисливо. Есть национальные живописцы: Рафаэль, Рембрандт; народных живописцев нет. Заметим кстати, что выставлять лозунг народности в искусстве, поэзии, литературе свойственно только племенам слабым, еще не созревшим или же находящимся в поработанном, угнетенном состоянии. Поэзия их должна служить другим, конечно, важнейшим целям – сбережению самого их существования. Слава богу, Россия не находится в подобных условиях; она не слаба и не поработана другому племени. Ей нечего дрожать за себя и ревниво сберегать свою самостоятельность; в сознании своей силы она даже любит тех, кто указывает ей на ее недостатки.

Возвратимся к Пушкину. Вопрос: может ли он назваться поэтом национальным, в смысле Шекспира, Гёте и др., мы оставим пока открытым. Но нет сомнения, что он создал наш поэтический, наш литературный язык и что нам и нашим потомкам остается только идти по пути, проложенному его гением. Из выше сказанных нами слов вы уже могли убедиться, что мы не в состоянии разделять мнения тех, конечно, добросовестных людей, которые утверждают, что настоящего русского литературного языка вовсе не существует; что нам его даст один простой народ вместе с другими спасительными учреждениями.^[3] Мы, напротив, находим в языке, созданном Пушкиным, все условия живучести: русское творчество и русская восприимчивость стройно слились в этом великолепном языке, и Пушкин сам был великолепный русский художник.

¹ Гений берет свое добро везде, где его находит (*франц.*).

Именно: русский! Самая сущность, все свойства его поэзии совпадают со свойствами, сущностью нашего народа. Не говоря уже о мужественной прелести, силе и ясности его языка, эта прямодушная правда, отсутствие лжи и фразы, простота, эта откровенность и честность ощущений – все эти хорошие черты хороших русских людей поражают в творениях Пушкина не одних нас, его соотечественников, но и тех из иностранцев, которым он стал доступен. Суждения таких иностранцев бывают драгоценны: их не подкупает патриотическое увлечение. «Ваша поэзия, – сказал нам однажды Мериме, известный французский писатель и поклонник Пушкина, которого он, не обинуясь, называл величайшим поэтом своей эпохи, чуть ли не в присутствии самого Виктора Гюго, – ваша поэзия ищет прежде всего правды, а красота потом является сама собою; наши поэты, напротив, идут совсем противоположной дорогой: они хлопочут прежде всего об эффекте, остроумии, блеске, и если ко всему этому им предстанет возможность не оскорблять правдоподобия, так они и это, пожалуй, возьмут в придачу»... «У Пушкина, – прибавлял он, – поэзия чудным образом расцветает как бы сама собою из самой трезвой прозы». Тот же Мериме постоянно применял к Пушкину известное изречение: «*Proprie communia dicere*»,^[4] признавая это умение самобытно говорить общеизвестное – за самую сущность поэзии, той поэзии, в которой примиряются идеальное и реальное. Он также сравнивал Пушкина с древними греками по равномерности формы и содержания образа и предмета, по отсутствию всяких толкований и моральных выводов. Помнится, прочтя однажды «Анчар», он после конечного четверостишия заметил: «Всякий новейший поэт не удержался бы тут от комментариев». Мериме также восхищался способностью Пушкина вступать немедленно *in medias res*,^[5] «брать быка за рога», как говорят французы, и указывал на его «Дон-Жуана»,^[6] как на пример такого мастерства.

Да, Пушкин был центральный художник, человек, близко стоящий к самому средоточию русской жизни. Этому его свойству должно приписать и ту мощную силу самобытного присвоения чужих форм, которую сами иностранцы признают за нами, правда, под несколько пренебрежительным именем способности к «ассимиляции». Это свойство дало ему возможность создать, например, монолог «Скупого рыцаря», под которым с гордостью подписался бы Шекспир. Поразительна также в поэтическом темпераменте Пушкина эта особенная смесь страстности и спокойствия, или, говоря точнее, эта объективность его дарования, в котором субъективность его личности сказывается лишь одним внутренним жаром и огнем.

Всё так... Но можем ли мы по праву назвать Пушкина национальным поэтом в смысле всемирного (эти два выражения часто совпадают), как мы называем Шекспира, Гёте, Гомера?

Пушкин не мог всего сделать. Не следует забывать, что ему одному пришлось исполнить две работы, в других странах разделенные целым столетием и более, а именно: установить язык и создать литературу. К тому же над ним тоже отяготела та жестокая судьба, которая с такой, почти злорадной, настойчивостью преследует наших избранников. Ему и тридцати семи лет не минуло, когда она его вырвала от нас. Без глубокой грусти, без какого-то тайного, хоть и беспредметного негодования, нельзя читать слова, начертанные им в одном его письме, за несколько месяцев до смерти: «Моя душа расширилась: я чувствую, что я могу творить».^[7] Творить! А уже отливалась та глупая пуля, которая должна была положить конец его расцветающему творчеству! Быть может, уже отливалась тогда и та, другая пуля, которая предназначалась на убийство другого поэта, пушкинского наследника, начавшего свое поприще с известного, негодующего стихотворения, внушенного ему гибелью его учителя... Но не будем останавливаться на этих трагических случайностях, тем более трагических, что они случайны. Из этой тьмы возвратимся к свету; возвратимся к поэзии Пушкина.

Здесь не место и не время указывать на отдельные его произведения: другие это сделают лучше нас. Ограничимся замечанием, что Пушкин в своих созданиях оставил нам множество образцов, типов (еще один несомненный признак гениального дарования!), – типов того, что совершилось потом в нашей словесности. Вспомните хоть сцену корчмы из «Бориса Годунова»,

«Летопись села Горохина»^[8] и т. д. А такие образы, как Пимен, как главные фигуры «Капитанской дочки», не служат ли они доказательством, что и прошедшее жило в нем такую же жизнью, как и настоящее, как и предсознанное им будущее?

А между тем и Пушкин не избег общей участи художников-поэтов, начинателей. Он испытал охлаждение к себе современников; последующие поколения еще более удалились от него, перестали нуждаться в нем, воспитываться на нем, и только в недавнее время снова становится заметным возвращение к его поэзии. Пушкин сам предчувствовал это охлаждение публики. Как известно, он в последние годы своей жизни, в лучшую пору своего творчества, уже почти ничем не делился с читателями, оставляя в портфеле такие произведения, как «Медный всадник».^[9] Он до некоторой степени не мог не чувствовать пренебрежения к публике, которая приучилась видеть в нем какого-то сладкопевца, соловья... Да и как нам винить его, когда вспомнишь, что даже такой умный и проницательный человек, как Баратынский, призванный вместе с другими разбирать бумаги, оставшиеся после смерти Пушкина, не усомнился воскликнуть в одном письме, адресованном тоже к умному приятелю: «Можешь ты себе представить, что меня больше всего изумляет во всех этих поэмах? Обилие мыслей! Пушкин – мыслитель! Можно ли было это ожидать?»^[10] Всё это Пушкин предчувствовал. Доказательством тому известный сонет («Поэту», 1 июля 1830 г.), который мы просим позволения прочесть перед вами, хотя, конечно, каждый из вас его знает... Но мы не можем противиться искушению украсить этим поэтическим золотом нашу скудную прозаическую речь:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Комментарии

1.

...Батюшков ~ воскликнув: «Злодей!»... – Тургенев неточно цитирует показание П. В. Анненкова в «Материалах...» (Сочинения Пушкина, т. I, 1855, стр. 55), в котором речь шла не об элегии «Редает облаков летучая гряда», написанной на юге, а о послании к Юрьеву «Любимец ветреных Лаис», написанном Пушкиным незадолго до ссылки.

2.

«Le genie ~ il le trouve». – Сентенция, принадлежащая, по преданию, Мольеру (в несколько иной редакции – от первого лица: «Je prends mon bien...»).

3.

...мы не в состоянии разделять мнения ~ с другими спасительными учреждениями. – Имеется в виду учение Славянофилов.

4.

Proprie communia dicere... – Точнее: Difficile est proprie communia dicere (Трудно выражать самобытно общие понятия). – Сентенция из «Науки поэзии» Горация, ст. 128.

5.

...in medias res (в сердцевину вещи). – Выражение Горация из «Науки поэзии» (ст. 148).

6.

...на его «Дон-Жуана»... – «Дон-Жуаном» Тургенев называет трагедию Пушкина «Каменный гость».

7.

...за несколько месяцев до смерти: «Моя душа ~ я могу творить». – Тургенев, очевидно, по памяти и потому не совсем точно цитирует фразу из письма Пушкина к Н. Н. Раевскому-сыну от второй половины июля 1825 г. (Пушкин, т. XIII, № 193). Точный текст: «Je sens que mon ame s'est tout-a-fait developpee – je puis creer» («Чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития, я могу творить»). Отрывки из этого письма, включая приведенную Тургеневым фразу, напечатаны впервые Анненковым в «Материалах...» (Сочинения Пушкина, т. I, 1855, стр. 135–136) с прямой датировкой 1825 годом; вторично – во французском оригинале – в приложении III к тому же изданию «Материалов» (стр. 444–445). Следующим, IV приложением, напечатано здесь известное письмо Жуковского к С. Л. Пушкину о последних часах Пушкина. В редакционной заметке «Современника» (1837, т. V), напечатанной Анненковым на стр. 446, сказано: «Россия потеряла Пушкина в ту минуту, когда гений его, созревший в опытах жизни, размышлением и наукою, готовился действовать полною силою». Кажущаяся связь этих слов со словами из письма к Раевскому, очевидно, и ввела в заблуждение Тургенева, отнесшего и раннее письмо к Раевскому ко времени «за несколько месяцев до смерти» поэта. Перевод принадлежит, вероятно, самому Тургеневу. Ошибочное представление о том, что слова Пушкина написаны незадолго до его смерти, глубоко вошло в память Тургенева и он не раз повторял его, утверждая, что Пушкин погиб на пороге нового, высшего этапа своей деятельности, к которому предшествующее его творчество было лишь подготовлением. См. наст. том, стр. 81, 84, 109.

8.

«Летопись села Горохина». – Так Тургенев называет «Историю села Горюхина», соответственно публикациям того времени.

9.

Как известно, он в последние годы ~ как «Медный всадник». – Тургеневу еще не был известен факт запрещения «Медного всадника» (см.: Т. Г. Зенгер. Николай I – редактор Пушкина. – Лит Насл, т. 16–18, стр. 521–524).

10.

...Баратынский ~ в одном письме ~ это ожидать? – Письмо Е. А. Баратынского, которое в пересказе приводит Тургенев, обращено к его жене, А. Л. Баратынской. Оно относится к первым месяцам 1840 г. и напечатано впервые в «Сочинениях» Баратынского, изд. 1869 г., стр. 423–424, – издании, подготовленном при участии Тургенева (см. наст. изд., т. XIII, стр. 689–690).